

**К XII МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ**

© 1998 г. О.Н. ТРУБАЧЕВ

**СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНОСТЬ.**

**ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ**

Ihr naht euch wieder,  
schwankende Gestalten...

Goethe. Faust

Вы вновь ко мне, туманные виденья...

Славистические съезды в этом веке начались в Праге и из Праги (I съезд славянских филологов – 1929 г.). Но даже следующий затем II-ой регулярный МСС в Варшаве 1934 года был все-таки слишком камерным (как-то давно в Кракове мне показывали коллективное фото его участников, человек тридцать, едва ли два-три процента от тысячных съездовских аудиторий последних десятилетий). Третий МСС должен был состояться в 1939 г. в Белграде, его сорвала война, но в общий реестр он все же зачислен.

Мое поколение пришло в науку после войны, и московский IV Международный съезд славистов 1958 года был нашим первым славистическим съездом. Он и по своим параметрам был первым славистическим съездом нового времени, второй половины века. Тысячное участие (точнее, говорят, тогда собралось более 2000 человек) роднило его уже со всеми последующими съездами, но он отличался от них, смею утверждать это, небывалым подъемом, обилием организационно-научных инициатив (я не называю, они всем известны), а также неожиданным множеством собравшихся живых классиков, которых не успела выкосить война.

Фасмер, Кипарский, Мазон, Вайян, Белич, Гавранек, Лер-Сплавинский, Якобсон, Стендер-Петерсен, Виноградов... Никогда уже больше ни один съезд славистов не соберет равновеликого сонма имен. Наше поколение жадно смотрело на них, с восхищением вслушивалось в их речи, в дискуссии между ними, в их русский язык, которыми они (почти все) замечательно владели. Но увы, также ясно было, что они скоро уйдут. Поэтому – как не вспомнить тех, у кого достало прозорливости, чтобы, глядя на нас тогда, назвать тот съезд нашим съездом. Храню об этом точное воспоминание... Теплый сентябрьский день 1958 г. От станции метро “Университет” в Москве отходит автобус № 111 в сторону главного здания МГУ. Автобус довольно полон, не всем удалось сесть. В окно виден Владимир Николаевич Сидоров, он улыбается своей доброжелательной улыбкой тому, кто остается снаружи и говорит: “Это ваш съезд”...

\* \* \*

В сентябрьские дни московского съезда славистов у меня родился сын. Сорок лет назад...

Перебирая в памяти и в анналах воспоминания и материалы “от съезда к съезду” и отнюдь не претендуя при этом ни на исчерпывающую полноту, ни тем паче, на всезнание, все же увлекаешься интересной задачей – выделить отдельные моменты, важные и в плане самих съездов и всей нашей науки – славянской филологии. Убедительно символизируя *п р е е м с т в е н н о с т ь* науки, каждый съезд жил этой преемственностью. Академик В.В. Виноградов на открытии VI-го международного съезда славистов в Праге 1968 г. [Виноградов 1970] вспоминает об участии в I MCC 1929 года (также в Праге) Белича, Фасмера, Гавранека, Лер-Сплавинского, Чекановского (кстати, участвовавших и в IV-ом, московском, MCC).

Р.И. Аванесов специально указывает на московском съезде: “Необходимость создания общеславянского лингвистического атласа была осознана еще на I Международном съезде славистов [A. Meillet, L. Tesnière. *Projet d'un Atlas linguistique slave.* – O.T.], хотя практических шагов с тех пор сделано не было. На нашем, IV съезде этот вопрос впервые подвергся серьезному обсуждению” [Аванесов 1962]. Проблема создания Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА) растянулась во времени и вообще знавала разные коллизии, но и – итоги, один из которых, двадцатилетие работы над Атласом, Аванесов докладывает уже на VIII MCC 1978 года [Аванесов 1978]. Неизменный интерес представляет и другая смежная проблематика, адекватной или, наоборот, избыточной терминологической и концептуальной трактовки которой мы еще постараемся коснуться далее. Речь идет о вечной проблеме отношений диалектов и языка (национального, книжнописьменного, литературного). В докладе Аванесова на V Международном съезде славистов (София, 1963) говорится, не без противоречий, о “диалектном языке” (“система систем”, “территориальное варьирование”) [Аванесов 1963] и как будто нет ни слова о *н а д д и а л е к т е*, единственной коммуникативной форме, которую способно выработать общение диалектов между собой. Десятилетие спустя к прежнему сюжету “русского диалектного языка” у этого исследователя добавляются уже высказывания, более определенно солидарные с исканиями других ученых в этой области: “Можно предположить уже для древнейшей эпохи также существование некой наддиалектной койне” [Аванесов 1973]. Примерно так уже судили такие участники съездов славистов, как Б. Гавранек (“до возникновения письменно-литературных языков существовало койнэ, которое обслуживало культурные потребности той или иной эпохи”) [Гавранек 1962: 65] и С.Б. Бернштейн (“культурный” язык Брюкнера, иначе “какое-то разговорное койнэ, часто междиалектное...” [Бернштейн 1962]).

Совершенно очевидно, что перед нами концептуальные задачи, по-прежнему актуальные и для науки новейшего времени, более того, далеко не выполненные ею и даже не всегда корректно ныне выдвигаемые. Список научных *actualia*, поднятых еще на первых съездах славистов, можно продолжить, и он будет внушительным, пойдет ли речь о “синтаксических целых высшего порядка” в выступлениях Б. Гавранека [Гавранек 1962: 213], открывающих путь к современным лингвостилистике и лингвистике текста, или об “Изогlossах в славянском языковом мире” Бодуэна де Куртенэ еще на I съезде славистов [Baudouin de Courtenay 1932: 448–450]. Далее, заслуживает особого упоминания такая яркая и могучая постиндоевропейская морфологическая инновация славянского, как развитие глагольного вида, с четко обозначившейся имперфективацией, с постепенным переходом к четкой оппозиции определенность/неопределенность от того, видимо, архаического, как бы “двухвидового”, неопределенного состояния, которое, между прочим, до сих пор наблюдается в сербохорватском. Именно докладам и дискуссиям славистических съездов мы обязаны в немалой степени прогрессом в этой области знаний, ср. А. Мазон, “Глагольный вид в славянских языках” (пленарный доклад на IV MCC), Ю.С. Маслов – о первостепенной роли имперфективации на том же съезде, И. Грицкат – о двухвидовых сербохорватских глаголах [Němec 1959: 301 и сл.; Бородич 1962: 204].

Значение и важность проблемы славянского глагольного вида может косвенно явствовать еще и из диагностического аспекта, открывающегося (и при этом слабо учитываемого) для нее и других проблем морфологического плана в обстоятельствах, о которых коротко – ниже. Вопрос о так называемых смешанных языках, к которому не остались равнодушны и наши славистические съезды (ср. [Lenček 1978: 500]), неожиданно затронул самое генеалогическое существо славянского, ибо, в унисон другой популярной типологической идее – о славянском как новом языковом типе, стала – от съезда к съезду – насаждаться мысль – о смешанном характере славянского. Ср. характерное положение об этом: “...праславянский осуществился как результат итальянской инфильтрации в западнобалтийский ареал” [Мартынов 1978: 548]; далее, попытку объяснить тенденцию к открытости слога и другие фонетические особенности праславянского наложением “одного из скифских языков” на группу балто-славянских диалектов [Чекман 1978: 154]; наконец, суммарное положение на ту же тему: “...территория становления праславянского языка на основании славяно-иранского субстратно-суперстратного языкового взаимодействия около V в. до н.э. и выделения праславянского языка из западнобалтийского состояния” [Мартынаў 1993: 73]. Эти взгляды, представленные также в более раннее время весьма авторитетными исследователями (Вяч.Всев. Иванов, В.Н. Топоров – IV MCC), встречаются, однако, непреодолимое сопротивление в концепции, логично возвращающей нас к упомянутому выше фактору развитости славянской морфологии: “...стоит упомянуть наблюдение Теньера о том, что любой язык, не имеющий морфологии, кажется продуктом весьма недавнего смешения и наоборот – язык с богатой морфологией, скорее всего не является продуктом недавнего смешения” [Szemerényi 1972: 174].

Понятно, что не меньше, больше того – подавляющее число участников всех наших съездов было неизменно и остро заинтересовано в прояснении вопросов старославяно-церковнославянского комплекса во всем их множестве, в их числе “вечный” вопрос, – не является ли русский литературный язык церковнославянским (“целиком”, “наполовину”, “на две трети”) или же генетически церковнославянских элементов в нем не более 12%, что вполне совместимо с самобытностью основного корпуса языка [Филин 1978: 215]. По-прежнему в центре внимания оставался кирилло-мефодиевский канон, его генезис, его тяготения. Сразу отметим, что в этой важной проблемной области всегда было и будет много споров, поэтому особенно актуально здесь привлечение новых фактов и раскрытие дополнительных типологических аспектов. Насколько перспективна концепция, рассматривающая старославянский – по укоренившейся научной терминологии – книжный язык как плод индивидуальной творческой деятельности первоучителей славян – святых Кирилла и Мефодия (ср. так [Верещагин 1997: 3 и сл.])? Не ведет ли это нас к построениям с возрастающей сомнительностью вроде того, что старославянский – искусственный язык? Ср. трезвое дискуссионное суждение на этот счет на IV MCC: “...утверждение докладчика (Й. Курца. – О.Т.), что старославянский язык не был языком народности, а с самого начала был литературным языком, мне кажется слишком смелым. Перевода церковных книг на какой-нибудь искусственный язык не могло быть” [Львов 1962: 151]. Поэтому вновь и вновь звучит этот вопрос вопросов: “Какой же это был все-таки язык? Его основой, несомненно, была речь славянского населения окрестностей Солуни в своей местной диалектной форме, а, может быть, и устный культурный диалект более широкого славянского региона Балкан (подчеркнуто мной. – О.Т.)” [Večerka 1993: 229]. Неслучайной поэтому кажется постановка проблемы докирилло-мефодиевского культурного (надъ)языка (I. Mahnken, IX MCC), ср. тогда же поддержку, сформулированную, правда, в духе “наличия двух типов литературного болгарского языка IX в. – письменного и разговорного” [Кочев 1986: 93]. Как видим, дальнейшие уточнения здесь возможны и даже необходимы, взять хотя бы старый, но неустаревший тезис Копитара о карантанско-паннонских истоках старославянского, проницательность которого – тезиса Копитара – все же явствует из факта высокой

степени родства старославянского и словенского словаря [Огоžen 1993: 129–130]. Здесь важны также косвенные показания, подключающиеся к решению главного вопроса, например, западная раннеславянская христианская терминология в венгерском языке, в свою очередь возвращающая нас к моравско-паннонскому компоненту старославянского языка (лексикона) [Хелимский 1993: 62]. И в интересах дела необходимо вновь и вновь вызывать в памяти, как бы “проигрывать” эту единственную реальную этнолингвистическую ситуацию, уже затронутую выше и крайне актуальную для понимания того, к а к э т о б ы л о в условиях предписменного, предкирилломефодиевского этапа: диалекты → междиалектное общение → наддиалект, alias культурный язык. Складывание в предписменную пору предтечи письменного языка, по-видимому, универсально. Возможности устного хранения и передачи (традиции) целых корпусов знаний были неограниченны. Не только агафирсы “пели свои законы”, по сообщениям древних; нечто аналогичное имело место везде и всюду, в частности устная форма существования законов (традиция обычного права) у славян [Дерягин 1983: 79]. Не менее во всяком случае могут быть эффективны чисто типологические подходы к проблеме генезиса старославянского языка, я имею при этом в виду свободные аналогии “создания” нового литературного языка в совершенно другое время и внешне других обстоятельствах. Так, при внимательном рассмотрении известный тезис “Вук Караджич – индивидуальный создатель нового сербского литературного языка” корректируется и обретает иную, реальную формулировку: Вук Караджич как о б р а б о т ч и к канцелярско-административного языка карагеоргиевской Сербии [Stolz 1973: 120]. Согласимся, что эта ситуация могла бы иметь отношение к реалистичному решению вопроса о роли Кирилла и Мефодия.

Уже из нашего краткого обозрения видна роль словарных данных – в изучении древнейшего книжнописьменного языка славян, в исследовании их этногенеза [Ropowska-Taborska 1978: 715]. Нельзя сказать, что так было всегда. Напротив, лексический ряд скорее недооценивался современным языкознанием. Не вдаваясь в рассмотрение вопроса, насколько такая позиция языкознания может считаться адекватной, иными словами, – насколько вообще может быть живой языковая модель, не насыщенная лексически, ограничимся констатацией, что именно съезды славистов и их деятельные участники повернули стрелку славистического компаса в сторону словаря и слова.

На V-ом и последующих съездах славистов выразительно фигурирует проблематика сравнительно-исторической лексикологии, почти неотрывно за ней следует историческая лексикография. Пытливому Игорю Немцу, выученику пражской лингвистической школы и видному исследователю и автору *sub utaque specie* мы обязаны памятными обзорами обеих этих дисциплин на съездах. Он четко выделяет успехи и отставания: имя по-прежнему больше исследовано, чем глагол; не выяснены закономерности лексического развития (– в сентябре 1963 года; а выяснены ли они к сентябрю 1998-го? – О.Т. [Němec 1964: 386–387]. Стоит напомнить и итог VII MCC от того же автора: «Славистика все же в целом хорошо сознает важность лексического материала, сохранившегося в письменных памятниках. Об этом также свидетельствует интерес участников съезда к исторической лексикографии. Подобно тому как пражский съезд 1968 г. стимулировал издание первых томов Старочешского словаря, варшавский съезд, со своей стороны, способствовал раннему выходу подробного “Пробного выпуска Словацкого исторического словаря”. Требование ускоренного издания славянских исторических словарей было четко сформулировано на этом съезде С. Урбанчиком...» [Němec 1974: 169].

Еще одно, можно сказать, капитальное международное начинание из вышеназванной области связано так или иначе со съездами славистов. Я имею в виду праславянскую лексикографию, представленную к настоящему времени параллельно издающимися “Праславянским словарем” польских коллег (тт. 1–7: А–G) и нашим этимологическим словарем славянских языков (Праславянский лексический фонд) (вып. 1–24: А–N). Можно сказать, что съезды славистов следили за ходом этих

больших лексикографических предприятий, обсуждение их предварительных итогов звучало порой и с трибун съездов. Я здесь не намерен останавливаться на этом вопросе, в чем-то для меня личном, хотя допускаю, что в этом эпизоде нашей общей науки отпечатались немало того, что могло бы заинтересовать на тему славянской судьбы и судьбы вообще. Начать хотя бы с того, что оба названных словаря случайно начали издаваться в один и тот же год и месяц – в декабре 1974, и это не легенда. Больше я о них говорить не буду, скажу лишь, что здесь в полной мере нашли выражение в сравнительность (это на тему нынешнего моего сообщения) и, увы, польско-русское соперничество (это, скорее, уже на тему славянской судьбы). Но феномен праславянской лексикографии сам по себе заслуживает того, чтобы сказать о нем особо. Позволю себе повторить, что уже сказал семь лет назад: “мы имеем при этом впервые в индоевропейстике дело с праязыковой лексикографией. Я полагаю, что, например, германистике предстоит здесь еще многое наверстывать (я имею в виду прагерманский/общегерманский и специально прагерманскую лексикографию, которой, как известно, еще не существует)” [Trubačev 1991: 203]. Праславянская лексикография оказывается, таким образом, наиболее продвинутым направлением праязыковой лексикографии. Заметил это ученый Запад или, скорее, еще не заметил, – другой вопрос. Как сказал и на этот раз Игорь Немец: “В мировой лингвистике еще не был должным образом оценен тот факт, что славянскому языкознанию принадлежит особое первенство – в создании праязыковой лексикографии путем подготовки словарей праславянского языка в этимологических коллективах разных славянских стран. На этот факт обратила внимание словами О.Н. Трубачева конференция “Slavische Etymologie – 100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklosich (20.11.1813–7.3.1891)”, проведенная в дни 30.9–1.10.1991 г. в Вене в честь лингвиста, обладающего, вероятно, наибольшими заслугами в отношении этого первенства” [Němec 1992: 232].

Понятно, что только через лексику, полноточные слова прокладывает лингвистика путь к культуре, ее истории и реконструкции этой истории. Эти самоочевидные констатации еще не означают неперемного успеха подобных операций. Все дело в адекватности интерпретации, ее сравнительной и исторической глубины. То обстоятельство, что мы не всегда находим эти качества в реальном исследовании, служит объяснением, почему мы не всегда удовлетворены результатами исследования. Например, нехватка исторической перспективы, противоречивость и искусственность сразу бросаются в глаза, когда речь идет о попытке связать наличие “высоких (культурных)” слов *\*duša*, *\*grěxъ*, *\*světъ* в западнотславянском (вплоть до полабского!) то ли с влиянием мефодиянской миссии, то ли с так называемой “западной” миссией (последнее см. А. де Винценц на X MCC [De Vincenz 1988: 260]). Впрочем, понятно, на чем основана и как эшелонируется эта ошибка, – на неверии в несомненную, кстати, праславянскую принадлежность этой и другой высокой лексики, на неверии в существование самой этой высокой, культурной страты дописьменного языка славян (их культурного наддиалекта, интердиалекта, см., об этом у нас, выше), на недостаточном понимании праславянской, порой – праиндоевропейской древности культурной, религиозной терминологии, которую христианство гибко переняло у славянского язычества. С аналогичной близорукостью мы сталкивались и на тысячелетии крещения Руси, когда эта культурноисторическая близорукость облеклась в форму речей о “начале древнерусской культуры” точно с 988 года или же о “трансплантации” этой культуры из другой страны на Русь, которая при этом мыслилась как некая *tabula rasa*. Наиболее “частотные” религиозные слова (термины, понятия) *бог*, *вера*, *святой*, *дух*, *душа*, *рай*, *грех*, *закон* были взяты не из языка Греции, а из собственного языка славян [Трубачев 1997: 37 и сл.]. Культурную преемственность – дописменно-книжнописьменную, языческо-христианскую – недопустимо недооценивать, хотя это делается [Толочко 1993: 99–100]. Означенная лексика не является также продуктом индивидуального творчества святых Кирилла и Мефодия, они уже з а с т а л и нужную лексику для выражения главных религиозных понятий в языке самих славян и

применили, использовали е ё, а не искусственные неологизмы или, скажем, заимствования, и именно в этом непреходящее величие обоих братьев. То, что требуется от нас с вами в отношении этих данных, это адекватный сравнительно-исторический, лексико-этимологический анализ. Важность и перспективность этого предмета для современной славянской этнолингвистики и социоллингвистики несомненна. Лексическое сравнение и лексико-семантическая реконструкция, например, в практике нашего Этимологического словаря славянских языков, в том числе в его еще не опубликованных томах, “помогает увидеть, как праславянская дохристианская лексика реквизировалась христианской понятийно-терминологической системой”, см. ...*\*nevědja* и *\*nevě(d)gostь* ‘невежда, неверующий’, далее, *\*nevěra*, *\*nevěrbь*, *\*nevěrbje* с их еще праславянской древностью и *\*nejevěrbь* ‘маловер’, основанное на базе целого куса праславянского текста *\*ne jeti věry* ‘не принимать на веру, не верить’ [Трубачев 1997а: 119].

Описательный уровень исторической лексикографии подвергается сравнению с данными этимологической реконструкции. Так, дискуссия о значении слова *gostь*, интересно вспыхнувшая на IV МСС между датчанином К.Р. Шмидтом и польским ученым, проф. С. Урбанчиком, – не ‘купец’ (К.Р. Шмидт), а ‘пришелец, чужой в городе человек’, на основании Старопольского словаря [Урбанчик 1962: 89], может возобновиться десятилетия спустя, потому что этимология открывает новые горизонты значения слова *\*gostь*, и-е. *\*ghestis*/*\*ghostis* от глагола *\*ghed-* ‘доставать, хватать’, а именно ‘possessor, владелец, вступающий во владение’, идет ли речь о полноправном хозяине или – только о лице, приравниваемом к хозяину из вежливости [Трубачев 1995: 29–30].

Отражение состояния науки съездами славистов – вообще аспект интересный и непростой, в чем-то психологический. Одну закономерность, по крайней мере, кажется возможным выделить, и она довольно логична и человечески понятна. Так, большие обсуждения, дискуссии, споры совсем необязательно свидетельствуют о больших достигнутых успехах. Чаще – наоборот, здесь нет “изоморфизма” (то, что его нет, как правило, и в других постулируемых случаях, мы еще скажем далее). 50-ые–80-ые годы – это эпоха фронтальной публикации этимологических словарей всех славянских языков. Ничего похожего даже отдаленно раньше не наблюдалось. А обсуждение принципов этимологии и этимологической лексикографии на наших съездах как бы затухает. На VIII МСС (1978 г.) не было ни одного доклада по этимологической лексикографии (как, впрочем, думается, и по исторической лексикографии). Почему? А наверное все обстоит нормально, если принять во внимание, что все заняты делом (“пишут словари”) Знаю по себе я никогда не рвался обсуждать принципы этимологии и особенно – этимологического словаря, может быть, потому, что все эти годы писал его не покладая рук. Научный съезд может, таким образом, отражать успехи науки латентно [Трубачев 1978–1979: 59].

Сравнение, сравнительность, сравнительно-исторический метод языкознания – общеизвестные атрибуты последнего (так и хочется сказать: научного языкознания, в духе неумирающей концепции Германа Пауля, не желая ни в коей мере задеть этим тех, кто избрал другую часть – дескриптивное, синхронное языкознание). Ясно, что распространение этого метода по крайней мере частичное, его терминологии на другие отделы филологии – это результат влияния языкознания. В этом проявилась тенденция времени и современной науки, и с этим нельзя не считаться, особенно, если относиться с вниманием ко всему, что объединяет филологию. Вспомним слова, принадлежащие не кому-нибудь, а самому Р.О. Якобсону, который боролся за структурное языкознание, не теряя при этом из виду взаимопроникающего единства всей филологии: “Лингвист, глухой к поэтической функции, точно так же, как специалист по литературе, безразличный к проблемам и методам языкознания, в наше время представляет вопиющий анахронизм” (цит. по [Rabanales 1979: 98]). Попытаемся в дальнейшем держаться этого общепилологического масштаба, тем более, что до сих пор обычно преобладает раздельная трактовка той же сравнительности (внутри линг-

истики, внутри литературоведения) и новый – общелингвистический ракурс мог бы обогатить суждения. Уместно вспомнить, с кем из ушедших великих была специально связана эта инициатива, одна из этих инициатив. С. Вольман в одной из недавних статей упоминает, что в 1955 году (Београдски славистички састанак) акад. В.В. Виноградов, только что избранный председателем Международного комитета славистов в процессе подготовки московского, IV МСС, предложил внести в программу будущего съезда "выраженно компаративистские проблемы литературы и фольклора" [Wollman 1997: 16].

Если учесть, что "сравнительно-историческое изучение славянских литературных языков – совершенно не исследованная область славянской филологии", как было признано на том же IV МСС [Плющ 1962: 36], ясно, что распространение принципа сравнительности на всю славянскую филологию было несомненным *povuit*. Это новое было неслучайно инициировано человеком, так много сделавшим для русистики, для расширенного, панорамного изучения слова (взять хотя бы это позднейшее учение Виноградова о различиях внутриприсущего значения слова и его контекстного употребления). В сущности вся обширная наука филологии замкнута на слове, чем задана непререкаемая база единства всего корпуса науки, что, однако, не всегда удерживало эту науку от потрясений и разъедающих сомнений.

Просто филология гораздо старше языкознания; последнее как более узкая дисциплина почти современно новой эпохе и, как самоутверждающееся новое, оно порой и первое время как бы работало на разрыв, на сецессию, тем более, что на рубеже XIX–XX вв. в духовной сфере сецессионистские настроения в культурной Европе цвели буйным цветом. Мы сейчас, в конце XX века, все же понимаем, что гораздо больше мудрости в единстве филологии, в общности объединяющих ее интересов, в этом общем вкусе и интересе к своеобразию языков, к специфике слова [Martinet 1987: 3 и сл.]. Конечно, может быть, с этим согласны не все и сейчас, например, генеративизм с его дихотомией поверхностного и глубинного. Что же говорить о начале и первой половине нашего века (мы почти застали эти умонастроения), когда посягательства на единство филологии сделались опасно модными. Было время, когда Бодуэн де Куртенэ ратовал против смешения лингвистики с филологией и даже – "против обязательного союза с филологией и историей литературы" [Biatokozowicz 1983: 357]. Сейчас можно сказать, что это время прошло. Сейчас говорят даже об определенном единении не только славянской филологии, но и славистики, по объему, правда, не очень сильно отличающейся традиционно от филологии. На открытии VI Международного съезда славистов 1968 г. в Праге Б. Гавранек вспоминал опасения В. Ягича по поводу распада славистики на национальные дисциплины. Сам Гавранек смотрел на вещи уже с определенным оптимизмом, полагая, что "славистика как целое, наоборот, начиная с тридцатых годов набирала новое научное значение" [Havránek 1970: 13]. Причем не в последнюю очередь благодаря самим съездам славистов, добавим мы.

В нашей практике единство филологии наилучшим образом представляет школа Виноградова, прежде всего благодаря тому обстоятельству, что покойный ученый имел завидно широкие научные интересы, включавшие русское языкознание, лингвистику, литературоведение; виноградовской школе присуще внимание к проблематике текста. Это, конечно, стратегические суждения по существу дела; в практическом повседневье весьма нередки ситуации, когда "узкий" специалист, скажем, по словообразованию, нуждается в напоминании, что он лингвист, то есть для многих специалистов по небольшому кругу тем даже единство языкознания – довольно абстрактная истина [Трубачев 1993: 70]. Возвращаясь к ягичевскому еще пониманию славянской филологии (имея в виду труды серии "Энциклопедия славянской филологии", СПб., Пг., Л., 1908–1929), надо заметить, что оно в сущности, еще не включало литературоведения в современное понимание, охватывая главным образом славянские языки и письмо (памятники славянского письма), а также этнографические данные (см. [Супрун 1989: 15]). Конечно, такая концепция подлежала расширению, что

и произошло. Спорным и по сей день остается объем славистики (славяноведения), и это прямо затрагивает наши съезды и дебатировалось на них, съезды, которые, к слову сказать, даже по определению, уже давно являются съездами с л а в и с т о в, а не с л а в я н с к и х ф и л о л о г о в, как, например, назывался I-ый съезд 1929 г. в Праге. За последние десятилетия в практике наших съездов прошел и миновал пик политизации и идеологизации, но некий корпус исторических (в их числе археологических) проблем, без которых рассмотрение выразительно комплексных тем вроде этногенеза славян просто невозможно, остается в составе современной славистики и тематики съездов славистов (см. [Горяинов, Досталь, Робинсон 1993: 656; Štáslný 1993: 421 и сл.]). Что касается славянской этнографии, то упрек в ограниченном объеме ее привлечения прозвучал еще на IV MCC [Токарев 1962: 379]. Надо сказать, что к настоящему времени положение несколько выровнялось в своеобразной форме междисциплинарного сотрудничества, точнее, целой дисциплины этнолингвистики, уже заявившей о себе также на славистических съездах.

Существенно же то, что в с я филология изучает тексты. Тут вспоминается несколько тавтологичное определение языка, сформулированное краковским ученым, проф. В. Маньчаком, – "język to t e k s t y mówione i pisane". Если обратить внимание на то, что имеется серьезная тенденция отождествлять или, по крайней мере, сближать историю литературы ("подлинную, а не вымышленную") и текстологию (ср. выступления на ряде съездов славистов видного историка литературы и текстолога русского "золотого века", Л.Д. Громовой [Громова-Опульская 1978: 289; Громова 1993: 496]), можно высказать наблюдение, что задатки дрейфа к взаимосближению лингвистических и литературоведческих дисциплин налицо. Тем более, что текстологии пишутся и лингвистами, и литературоведами. "Текст", "лингвистика текста", "стилистика и текстология" – это темы отдельных докладов и целых заседаний, особенно последних съездов, на которых можно было встретить и "фольклористическую текстологию" [Simonides 1978: 804] и специальный доклад супругов Толстых "Слово в обрядовом тексте" [Толстой, Толстая 1993: 179].

Конечно, не только слово, но и текст всегда в центре внимания сравнительного языкознания, идет ли речь о древнем тексте или о реконструированном, хотя в последнем случае сильно возрастает гипотетизм более или менее смелых шагов. Умелая и хорошо обоснованная интуиция может здесь многое, например, нащупать вероятный жанр древнейших, в том числе воссоздаваемых, реконструируемых устных народных произведений. Скорее всего это была басня [Раденкович 1993: 131]. Праславянскую басню не пробовали как-будто восстановить, зато известны опыты реконструкции басни индоевропейской (см. [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 832, сн. 1]: упоминание реконструкции индоевропейской басни Шлейхером и перезаписи ее позднее у Хирта).

В условиях такого взаимопроникновения разных дисциплин или, точнее сказать, иррадиации методологически влиятельного языкознания понятие "чистый специалист" делается все более проблематичным. Вспоминаются сетования Терье Маттиассена по поводу того, что такое "чистый славист" на XI MCC [Mathiassen 1993: 86]. В понимании норвежского ученого, это славист без знания балтийских языков. Мы у себя, как известно, страдаем от того, что у нас преобладает "чистый русист", русист без знания остальной славистики. И славистические конгрессы, которые должны были бы положительно сказаться на расширении компетенции таких русистов, пока не смогли переломить дело.

Желательно при этом постоянно иметь в виду, что усложнение состава дисциплины и разветвление ее частей – нормальный процесс, вовсе не отменяющий ее е д и н с т в а. Вот на гибком понимании единства я хотел бы сделать акцент, не меньший, чем на сравнительности. Все дело в том, что, при всем прогрессе науки, в наших умах сохраняется в неизменности младограмматическое понимание – отождествление "единство-простота", идеальное исходное единство, тогда как жизнь и факты науки непрерывно учат нас тому, что живое единство – это сложное единство, это единство частей, идет ли речь о нашей дисциплине – филологии или о языке. Первым не

выдержало этого испытания и подорвалось понимание единства филологии. Наши учителя в науке, помнится, разуверились в нем. Сейчас единство филологии обретает более сильные позиции, и это добрый знак. Та же ситуация поучительно повторяется и с языком, и, при некоторой дальновидности, испытываешь досаду при мысли, сколько еще сил и времени наверняка будет потрачено на преодоление также и здесь все той же косности, хотя порой и модно приодетой в современные научные атрибуты. Я имею в виду п р а с л а в я н с к о е е д и н с т в о и д р е в н е р у с с к о е е д и н с т в о. Для меня это заведомо сложные единства, упрощенное понимание которых – миф и недостаток информации, отрицание же этих единств пока что остается бездоказательным, как модное растаскивание их на гетерогенные компоненты. Наибольшим авторитетом в методологически важном понимании сложного единства я считаю св. апостола Павла (Первое послание к коринфянам, гл. 12), высказывание которого я в свое время избрал эпиграфом к своей книжечке о поисках единства:

Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?.. А если бы все были один член, то где было бы тело?..

Два слова о древненовгородском диалекте древнерусского языка как о предмете спора, зашедшего в тупик, хотя, кажется, перед нами случай, допускающий только одну определенную интерпретацию. Концепция преимущественного "новгородско-западнославянского родства" ложна, как и спаренная с ней концепция гетерогенности восточнославянского ареала (подробнее см. [Крысько 1997: 110 и сл.]), элементарно ложны и аргументы – общие с западнославянским архаизмы, поскольку никто не опроверг правила лингвистической географии о том, что общие архаизмы в двух отдаленных языках (диалектах) никоим образом не свидетельствуют о близости (родстве) этих языков (диалектов), что звучало и на наших съездах [Popowska-Taborska 1988: 696]. В другом месте я уже писал, что древненовгородский диалект – о д н а и з п е р и ф е р и й древнерусского языкового ареала, счастливо сохранившаяся (в берестяной письменности), но не обязательно самая архаичная, ср. ономастические и контактные следы другой древней – утраченной – юго-восточной, азовско-черноморской древнерусской периферии. И там, и тут фиксируются отдельные архаические, эндемические особенности, и там, и тут их наличие объяснимо из е д н о г о ареала древнерусского языка. Неверие в нормальную, живую жизнь такого сложноединного ареала, безапелляционный страх перед вскрывающимися самобытными диалектизмами, младограмматическая вера, что адекватно объяснить их возможно, только отдав другому языку, уже внесли много путаницы в обсуждение вопроса. Между единством и изначальной диалектной сложностью не существует внутреннего противоречия.

Наши категорические л и н г в и с т и ч е с к и е утверждения о древнерусском единстве интересно сопоставить со сходными показаниями других независимых дисциплин: а н т р о п о л о г и и (труды В.П. Алексеева, Т.И. Алексеевой) – об исключительном морфологическом сходстве всех краниологических серий русского народа, их принадлежности единому гомогенному (заметьте – не гетерогенному!) типу и (sapienti sat!) о локализации общеславянского единства "все-таки в Центральной Европе" [Р 1997: 61, 73; Чекановский 1962: 487] и а р х е о л о г и и (труд В.В. Седова, на которого любят односторонне ссылаться наши древненовгородские "сепаратисты") – об инфильтрации в Смоленско-Полоцкий регион в VIII–IX веках из Среднего Подунавья [Седов 1995: 232, 236].

Мы затронули аспект, достаточно популярный и на наших съездах – междуровневая и междисциплинарная информация и взаимодействие, и мы еще постараемся далее вернуться к этому плодотворному аспекту. Сейчас же имеет смысл вернуться к сравнительности/сопоставительности, которая, в принципе, присутствует и в только что отмеченной ситуации (ситуациях) и вообще глубоко органична в природе человека и его языка (см. специально ниже), что могло бы объяснить и нашу нынешнюю

попытку взглянуть на природу сравнительности в широких рамках славянской филологии. Не ходя далеко за доводами присущности сравнительности природе человека, которому свойственно не только ошибаться, но и сравнивать (что уместно выразить как *Comparare humanum est*, да и сам человек без натяжки подошел бы под психолингвистическое определение *Homo comparans*, человек сравнивающий), вспомним, что и Сын человеческий в евангелиях "говорил притчами" (ἐλάλεσε ἐν παραβολαῖς), причем слав. \**pri-tŕŕa* с его структурой и семантикой 'случай, слово к случаю, рассказ' (сербохорв. *prîča* 'рассказ', см. подробнее Фасмер III, с. 368) – не самая удачная передача знаменитого греческого παραβολή 'сопоставление, сравнение', породившего огромную позднероманскую лексико-семантическую группу 'слова' (*parola, palabra, parole*) и все же точнее, видимо, передаваемого немецким эквивалентом *Gleichnis* 'сравнение; притча'.

Сравнение – плоть и кровь языкознания в его сравнительно-исторической ипостаси, этой "исконно европейской науке" [Szemerényi 1982: 107]. Будучи инструментом этой, к слову сказать, самой точной филологической дисциплины, сравнение языков как метод вскрытия и доказательства генетического родства языков, думается, не могло не произвести глубокого впечатления и на другие отрасли филологии, а также вообще на человеческую мысль. Дальнейшее было уже практически в поле зрения наших славистических съездов. Знаменательно, конечно, что "первые голоса", ставившие и обсуждавшие проблему сравнительности также в области литературоведения, – это были ученые, столь же активно проявившие себя и как лингвисты-компаративисты, например, В.М. Жирмунский. Конечно, и он, и другие филологи, распространяя сравнительность на литературу, испытывают при этом сомнения и глубокие колебания, в их высказываниях видны поиски, сквозят опасения голословности и поверхностности применения сравнительности к литературоведению, эти очевидные с первого взгляда колебания между "общими социально-обусловленными закономерностями" и типологией [Žirmunskij 1970: 300].

Речь идет о "методологической интеграции сравнительного изучения литературы" [Wollman 1978: 964], наряду с откровенными признаниями, что сравнительное литературоведение все еще не нашло свою нишу [Ничев 1978: 631]. Хотя прообразом может послужить еще сравнительное изучение славянских литератур Шафарика в долитературоведческий, так сказать, период, живость обсуждения проблемы именно в последние десятилетия все же говорит сама за себя. Мы снова наблюдаем случай, когда оживленность дебатов, скорее всего, сигнализирует о недостаточно ясном состоянии. Мнения отчасти разделяются. Есть ряд утвердительных ответов относительно сравнительного характера современной литературоведческой славистики и сравнительной фольклористики, но есть сомнения со стороны тех, кто видит чистую славистичность и компаративность только в языкознании, как например Л. Дюрович [см. ответы на анкету Мареша – Вольмана в сборнике *Aktuální otázky slovanské filologie a šafarikův odkaz* (Slavia 65, 1996, passim)].

В славянском языкознании компаративность так не обсуждается, из чего можно было бы заключить не только то, что в литературоведение она (компаративность, сравнительность) перенесена вторично, в чем-то – метафорично, но и также, что в языкознании, в духе уже высказывавшихся мыслей, все относительно благополучно ("мало обсуждают, потому что заняты делом"), за исключением, правда, тех случаев, когда в самом языкознании наблюдается определенное сокращение сравнительности. Такая ситуация едва ли может говорить о здоровье науки. Достаточно сказать, что чисто формальные (формалистические) методы в языкознании исчерпали себя значительно быстрее. Сравнение запаса потенции будет, скорее, в пользу сравнительного метода. Более того, страны, где "модернизация" (или – близорукая, практицистская научная политика) проведена особенно широко, оказались вообще лицом к лицу с опасностью выпасть (либо уже выпали) из числа мировых славистических держав. Похоже, это случилось с Францией после Мейе, Мазона, Вайяна (я помню публичные призывы акад. М.П. Алексеева примерно к началу 80-х годов – помочь

французской славистике). В центре благополучной концепции современной славянской филологии должны, очевидно, быть – в перспективе – не "формальные критерии" (так Х. Бирнбаум в сб. "Aktuální otázky..."), а широкая, в своем ядре – сравнительная – формально фундированная теория.

Исключительно или по преимуществу прикладное, описательное, вычислительное, лингводидактическое языкознание (*le cas de France*) – это еще не (или – уже не) славистика...

И хотя применение сравнительности в филологии все более ширится, выступая то в виде сравнительной фразеологии [Morvay 1978: 612], то в виде сравнительного изучения письма [Furdal 1978: 240], ясно, что из него постепенно выхолащивается его генетическая сущность, где сравнение беспрепятственно пересекает собственно генетические языковые границы (русская, немецкая литература), практически оставаясь общим литературоведением / общей теорией литературы.

Есть, правда, одна сфера в нелингвистической филологии, где сравнительность обретает генетический (не типологический) смысл – проблема стеммы, родословной рукописных списков в текстологии (см. [Лихачев 1962: 11 и сл., 446 и сл.; Жуковская 1976: 17]).

Если идея сравнительности обрела популярность и была широко подхвачена за пределами языкознания и применена, пусть порой поверхностно и метафорично, прежде всего – в литературоведении, то осталась, к сожалению, незамеченной другая плодотворная идея современного теоретического сравнительного языкознания – идея внутренней реконструкции. Это упущение тем более досадно, что сравнительное литературоведение имеет, несомненно, дело с материалом и культурно-историческими эпизодами, которые явно нуждаются в трактовке в плане внутренней реконструкции. Правда, к трактовке одного из таких культурно-исторических эпизодов в духе внутренней реконструкции исследователи стихийно уже подошли, если иметь в виду логику внутрикультурного развития, идеологию сознательной архаизации в случае с так называемым "вторым южнославянским влиянием", этим своеобразным феноменом на границе языкознания, текстологии, литературы, который толковался преимущественно односторонне, за счет внешних импульсов, ср. и название – "второе южнославянское влияние". Второй случай, феномен так называемого "(Пред)Возрождения", кажется, целиком был принесен в жертву внешним импульсам. Насколько это оказалось адекватно, мы попытаемся рассмотреть далее.

Но сначала о "втором южнославянском влиянии". Дин С. Ворт в своем заметном докладе «Так называемое "второе южнославянское влияние" в истории русского литературного языка» на IX МСС 1983 года в Киеве, кажется, удачно нащупал внутрикультурные мотивы архаизации языка и письма, которые обычно толковались как пришедшие извне. В дискуссии мнения разделились. Сторонники безусловного влияния древнеболгарского языка и литературы обязательно видели его и здесь, в качестве влияния Тырновской литературной школы Болгарии (Д. Иванова-Мирчева и др.), чему другими (Л.П. Жуковская), кажется, разумно противопоставлялись доводы фактические и хронологические в духе явного предшествования проводимого редактирования и архаизации на Руси тому, что связывают с деятельностью Евфимия Тырновского в Болгарии (см. [выступления в дискуссии: Д. Иванова-Мирчева; Л.П. Жуковская на IX Международном съезде славистов, 1986]). Вообще же, оказывается, что культурная Европа того времени (вторая половина XIV века) знала примеры с и х р о н о г о расцвета филологической деятельности с тождественными задачами "чистоты слова", "чистоты речи", воссоздания чистоты наследия и связанного с этим исправления книг (см. Р. Пиккио в: [Липатов 1990: 198]). Не будет преувеличением сказать и о той эпохе, что сходные умонастроения носились в воздухе; в такой ситуации лучше воздержаться от прямолинейных поисков заимствований и влияний и шире допускать возможности типологического параллелизма.

Аспект внутренней реконструкции слишком значителен, чтобы ограничиться упоминанием о нем в двух словах. Сейчас это один из важнейших аспектов (методов)

современного теоретического языкознания (сравнительно-исторический метод + внутренняя реконструкция + типология). Можно сказать, что разработка внутренней реконструкции совершалась на глазах славистических съездов и силами их участников. Внутренняя реконструкция в нашей науке связывается с именем Е. Куриловича и имеет, надо сказать, специально краковские коннотации. Краковский публичный доклад Куриловича весной 1962 года о внутренней реконструкции был, вероятно, первым крупным его выступлением на эту тему и привлек большое внимание научной общественности. Во всяком случае проф. Ф. Славский, бывший в числе слушателей, не случайно произнес с чувством эти запомнившиеся слова: "Mieliśmy uczyć duchową" (Мы были на духовном пире). Вскоре доклад был опубликован [Kuryłowicz 1962–1963: 19 и сл.]. История внутренней реконструкции в науке в действительности старше, она обсуждалась еще на IV МСС в Москве и была названа там одной из задач этимологии [Трубачев 1962: 99], в конце концов, теория и практика реконструкции праславянского лексического фонда и составления Этимологического словаря славянских языков основаны также на внутренней реконструкции [Трубачев 1963: 13, 28], и это известно из литературы [СИИЯРС 1988: 11]. Для истории науки, наверное, полезно знать, насколько точны (или наоборот) бывают некоторые прогнозы. Так, например, вопрос № 8 "Какие новые возможности для изучения истории праславянского языка дает так называемая "внутренняя реконструкция"? в "Сборнике ответов на вопросы" к IV МСС в Москве не привлек внимания лингвистов. Е д и н с т в е н н ы й ответ (Вл. Георгиева) гласил, что возможности внутренней реконструкции в значительной степени исчерпаны, а новые возможности в этом смысле маловероятны...

Влияние лингвистических терминов-понятий на литературоведческие вряд ли нуждается в доказательствах (интер-диалект → интер-текст), зато обратного направления влияний, скорее всего, нет (рецепция 'восприятие того или иного писателя, произведения или литературы в другом регионе' остается без лингвистического аналога). Зато в т и п о л о г и ю уверовали, кажется, все филологи (ср. [Horálek 1973: 951]). При этом К. Горалек признает, что в сравнительной фольклористике, как и в сравнительном литературоведении, трудно бывает отличить типологическое родство от контактного происхождения. Вся обширная область контрастивного изучения языков основана на типологии. Типологическое исследование оказывается продуктивным, даже если речь идет о близкородственных языках, ср. давний уже "Опыт типологии славянских языков" А.В. Исаченко, задуманный еще как ответ на вопрос к несостоявшемуся III МСС 1939 года в Белграде [Isačenko 1939: 64 и сл.]. С тех пор чистая (типологическая) сопоставительность – как некий pendant к сравнительности – уже не покидала съездовских трибун и страниц съездовских изданий, ср. японский доклад на IX МСС в Киеве – Y. Nakamura, Система цветов в "Слове о полку Игореве" и "Хэйкэ-моногатари".

Теоретические возможности типологического аспекта, его объяснительная сила использованы еще далеко не в полной мере и могли бы помочь в рассмотрении и адекватной оценке болезненных вопросов современной филологии и культуры путем привлечения широких свежих типологических аналогий с целью разрушения мифа уникальности тех или иных острых ситуаций. Один пример такого рода. Горячие проблемы нынешнего украиноведения (кому принадлежит древний Киев, Владимир Святой и др.), к тому же, усердно рассматриваемые под лупой славистами третьих стран, как это имело место на симпозиуме в Кастель Гандольфо 1996 г. под эгидой папы Иоанна Павла II [WS, 1997], – эти сколь угодно горячие проблемы не должны нас ожесточать и считаться неоправданно уникальными. Переливание/миграция Древней Киевской Руси в Северо-Восточную Русь Великую типологически точно напоминает распространение ариев и индуизма из первоначального ареала обитания в Северо-Западной Индии в Центральную и Восточную Индию. Северо-Западная Индия вторично освоена исламом, воплотившимся в Пакистан, но это не отменяет исторического факта первоначальной ее принадлежности ариям (ср. [Барроу 1976: 46:

"В самый ранний период он (санскрит – О.Т.) сосредоточивался в Пенджабе, но вскоре центр переместился на восток, в области Куру и Панчала")].

Продуктивнейшим аспектом славянской и не только славянской филологии остается междуровневое и междисциплинарное взаимодействие, способное продвинуть решение задач на типологической основе, имея в виду в первую очередь задачи труднорешаемые или не решаемые в рамках (средствами) одной дисциплины. Полезность сотрудничества лингвистики и этнографии (духовная и материальная культура народа) известна давно, но лишь в последние годы трудами и теоретическими разработками покойного Н.И. Толстого и его школы утвердился новая дисциплина на стыке двух традиционных – этнолингвистика. Мне, как работнику в области лингвистической дисциплины, этимологии, представляется полезным привести, со своей стороны, пример того, как обращение к этнографии, осмысленное этнолингвистически, содействует выводу этимологии слова из тупика, из того своеобразного *circulus vitiosus*, в который она попала в силу односторонне этимологических сравнений. Праслав. *\*zqbъ*, ст.-слав. *зѣбъ* *ὀδούς*, *dens*, русск. *зуб*, польск. *zab* и т.д. обычно сравнивают с лит. *žambas* 'острый выступ', *žembi* 'разрезать', др.-инд. *jambhate* 'хватать, кусать', *jambha-* 'зуб, клык', авест. *zambayaδwem* 'разрушить, раздробить', греч. *ὀμφος* 'колышек', алб. *dhamp*, *dhëmp* 'зуб', *dhëmp* 'мне больно, болит', др.-в.-нем. *kamb* 'гребень', тохар. *kam*, *keme* 'зуб' (Фасмер<sup>3</sup> II, с. 106: 'зуб' < первонач. 'раздробитель', Mayrhofer I, S. 419). Можно заключить, что значение 'зуб' еще праиндоевропейское, остальные, главным образом глагольные значения (выше) как бы замыкаются на 'зуб': 'разрезать, кусать, дробить, делать больно (зубом)' (*circulus vitiosus*!). О семеме 'зуб' известно, что это вторичное, сложное значение, ср. прежде всего и.-е. *\*(e)dont-/\*(o)dont-* 'зуб' < 'едящий'. Славянское название зуба обнаруживает даже на славянском языковом уровне связи с лексикой, ничего общего с 'зубом' не имеющей, ср. хотя бы русск. *зябнуть*, *про-зябнуть*, *про-зябать*, *знобить*. На этом основании еще более сорока лет назад была предложена реконструкция слав. *\*zqbъ* < и.-е. *\*ĝon-bhos* 'выросшее' < *\*ĝen-* 'рождать(ся)', см. дополнение к Фасмеру, там же. Но на этом все как бы остановилось, где и пребывало до самых последних лет, когда "умудренный" жизнью (утрата собственных зубов и потеря близких...), автор этих строк стал искать у этнографов и этнолингвистов, прибегнув к незаменимой поддержке С.М. Толстой. Результатом было обращение к снам и их народным толкованиям, которые оказались весьма единогласны и красноречивы: выпавший зуб во сне предвещает смерть, смерть в семье, смерть близкого (и так – в различных частях славянства, что как бы гарантирует фондовый характер суеверия, см. [Niebrzegowska 1996: 224, 242, 246, 249–250; Усачева (рукопись). Народная культура подсказывает нужное направление этимологической дешифровки, причем *з у б* *в ы п а л* – это своего рода отголосок еще живой этимологии *\*р о ж д е н н ы й* (*\*ĝon-bhos*) умер'. Все остальное – вторичные напластования.

Примеры междисциплинарного взаимодействия легко могут быть продолжены, они весьма разнообразны и, надо сказать, порой поучительны. В прошлом году, во время встречи в Польше (дело было в Кракове) С. Вольман сообщил мне, что заинтересовался библейским словом *окринъ* как компонентом *древнейшего литературного сюжета*. Справки в нашем Словаре и справочной литературе, среди которой оказалась и моя "Ремесленная терминология в славянских языках", выявили, что праславянское *\*ob-krinъ* (откуда ст.-слав *окринъ* 'миска, плошка', Син. Треб., чеш. *okřín* 'блюдо', словц. *okrín* '(деревянная) чаша, миска', н.-луж. *hokšin* 'корытце, лоток') – более древняя лингвистическая модель 'оплетенное, облепленное', чем, например, равнозначное *\*ob-krqtъ* в ряде других славянских языков.

Уже опробованным аспектом междисциплинарного взаимодействия может служить привлечение гидронимических данных в археологических исследованиях и – *vice versa*. Не все подобные апелляции к инодисциплинарной материи и методологии оказываются, правда, удачными (порой вольное обращение с гидронимическими формами и этимологиями у археологов); на этом фоне выгодно отличаются комплексные работы нашего влиятельного археолога В.В. Седова, прежде всего – корректностью обра-

щения с гидронимическим материалом и лингвистической спецификой, ср его доклад В В Седов Становление и этногенез славян (по данным археологии и гидронимии), на XI МСС

Запоминающийся пример взаимодействий такого рода дало нам изучение переклички биологии развития (ботаники) и сравнительного языкознания (этимологии) на фоне удачного применения лингвистической географии. Я имею в виду прежде всего лингвистически тонкое наблюдение нашего выдающегося ботаника Н И. Вавилова о средневосточном названии 'ржи' как 'терзающей пшеницу/ячмень' и стимулированное этим выявление этимологических (семантических) аналогий в северных названиях ржи – в тех географических широтах и культурных ареалах, где рожь обрела уже значение полезного злака, но по-прежнему ее номенклатура несла на себе родимое пятно ее прошлого как досадного сорняка, – лат. *secāle*, сюда же франц. *seigle*, 'рожь' *secāre* 'срезать, сечь, рассекать'; слав. \**ръжь*, лит. *rugiai*, нем *Roggen* (и другие германские), все – 'рожь', от и -е \**ru-gh-* 'рвать, разрывать' [Трубачев 1991: 213]

Дальнейшие примеры у меня выстроены по степени возрастающей курьезности, даже отрицательного характера взаимодействия дисциплин или – отсутствия его в случаях, где оно явно бы пригодились. Но сначала – один, хотя и курьезный, но скорее положительный пример, демонстрирующий плодотворные возможности довольно высокого культурного уровня страны и престиж ее филологии и специально – лексикографии, словарного дела. Только в стране с высокой, национальной престижностью словарного дела – Сербии, где успешно и оперативно издается исключительно богатый по своему составу и корректный по своему толкованию слов и значений, полиграфически отличный "Речник књижевног и народног српскохрватског језика", уже обогнавший по этим параметрам знаменитый столетний "Rječnik Jugoslavenske Akademije" в Загребе, мог зародиться в начитанном и изощренном писательском мозгу такой опыт, как "Хазарский словарь" М Павича [Павић 1994]. Да, конечно, здесь много творчески индивидуального – и загадочно-мистическая фабула вокруг одного раннего (утерянного) хазарского печатного лексикона, и целый узел проблем на стыке трех религий и культур (иудейской, христианской, мусульманской), и беллетризованная кирилло-мефодияна с хазарской и моравской миссиями двух братьев, первоучителей славян, и своя версия балканского фольклора, турецких войн и полумифических сербских персонажей прошедших веков, и все это – затейливым писательским языком. Но хочется все же вернуться к культурной питательной среде, в которой писатель черпал свою образованность (знание научной литературы о хазарах – Артамонов, Данлоп), на которой опирал свой опыт беллетризации лексикографии, "реконструкцию" утерянного лексикона, построение своего опуса (алфавитные словарные статьи, аппарат) и, может быть, прежде всего и в первую очередь – это сквозящее сквозь саркастическую усмешку избранного кафкианского жанра высокое уважение к профессии составления словарей. "Поверьте, много опаснее, о господин, составлять из рассеянных слов словарь о хазарах здесь, в этой тихой башне, чем отправиться на войну на Дунай, где уже колотят друг друга австрийцы с турками" (с 96).

Следующий пример – об одной досадной лакуне в аппарате и знаниях специальной (западной) литературы у наших этнографов, лакуне, передающейся и нашим археологам, и, увы, лингвистам, когда они смело производят "великорусов Великого Новгорода" п р я м о с З а п а д а. Удобства ради, а также в интересах внесения ясности в этот все-таки запутанный вопрос прохода с запада на восток, "где-то в бассейне Немана", я позволю себе процитировать несколько обширнее свою книгу [Трубачев 1997б: гл III, 98–99] "Думая таким образом, слависты разных специальностей не хотят видеть капитального препятствия, стоящего на пути их умозрительных рассуждений этнографического рубежа на Северо-Востоке Польши. Судя по тому, что у нас и этнографы обходятся без его упоминания (мне оно ни разу не встретилось в новой академической "Этнографии восточных славян", во всяком случае – в разделах о народной культуре белорусов), этот феномен в нашей литературе, мягко говоря, не пользуется известностью

Понятие этого важнейшего этнографического рубежа было выдвинуто еще в довоенные годы в польской науке, и состоит оно в том, "что на северо-восток от среднего течения Вислы фигурирует один из наиболее очерченных в Европе этнографических рубежей, имеющий, вдобавок, соответствия в ареалах доисторических культур. А именно – в I тысячелетии до н.э. достигла этого рубежа с запада лужицкая культура" [Czekanowski 1957 385]. В этом рубеже не было никакой мистики: естественную преграду на восток от него образовывали сплошные дремучие леса, пуща. В разные эпохи волны культур,двигающиеся с запада на восток, вынуждены были останавливаться на краю великого первобытного леса, как на берегу моря" [Czekanowski 1957 390].

Нижеследующий пример отрицательного взаимодействия в духе той обобщенной классической формулировки взаимодействия, которую дал праксеолог Котарбинский ("два субъекта взаимодействуют, если по крайней мере один из них помогает или мешает другому" [Kotarbiński 1973 93]), налагает на нас, филологов, тяжелую и неприятную ответственность, которую лишь отчасти разделяет с нами воцарившаяся на книжном рынке атмосфера беспредела, разрушительства и скандальной вседозволенности. В подобных случаях очень неохотно берешься за опровержение, в надежде, что неприятную работу выполнит кто-то другой, а "умный читатель" и сам разберется. Но за разбираемой здесь кратко ревизией нашей истории стоит академик РАН (sic!), что резко увеличивает вероятность некритического восприятия этой ревизии. Акад. А.Т. Фоменко, математик, берется за корректировку ("укорачивание") хронологии России (как, впрочем, и других стран), смело перечеркивая итоги исторического источниковедения и филологии, истории языка. Не имея возможности заниматься здесь всем этим подробно и не будучи историком, текстологом, палеографом, скажу здесь кратко только о языковых (лексических, топонимических) примерах, с которыми этот ученый обращается так, как если бы у соответствующих дисциплин не было своей аксиоматики, принципов, литературы. Опровергать почти не нужно, факты говорят сами за себя. *Сum tacent, clamant*. В просмотренной мной публикации [Носовский, Фоменко 1997] содержатся утверждения "Термины *войско* и *воин* являются церковно-славянскими по происхождению, а не старо-русскими, и вошли в употребление лишь с XVIII века, старые названия были таковы. *Орда казак, хан*" (с 11), *Монголия* – это – просто греческое слово *мегалион*, что означает "Великий" (с 12), "Батый (Батька?)" (с 13); «не есть ли "город Теребовль" попросту искажение "города Тверь"?» (с 59), "*даруги* [монгольское! – О Т] – *други дружинники*" (с 69), нем *Ross* по "мгновенной ассоциации" сближается с *русскими* (с. 77); Мамай – "сын мамы" (с 79), библейское *Рош* отождествляется с английским *Russia*, "Паша" (с 85), что называется, "по звонам", библейское *Фувал, Тубал*, оказывается, "попросту *Тобол*" (с 85), *яр-марка* связывается с *Яро-Славлем* (с. 92), 'слова *улус* и *рус, Русь* не одного ли корня?" (с 95) и так далее, на том же уровне, если это – уровень.

Уровни языка автономны, как и дисциплины. Этому противоречит популярный теоретический постулат и з о м о р ф и з м а у р о в н е й, который все же опровергается реальными фактами. Элементарно опровергаются излюбленные якобы изоморфные отношения словообразовательного и семантического уровней ввиду часто наблюдаемой реальной разнонаправленности деривации обоих, с чем исследователи сталкиваются на практике, ср. наблюдение З. Голомба на VIII МСС в связи с формированием новых прошедших времен "При этом развитии характерно одно: старые формы приобретают новые значения, старые значения переносятся на новые формы" (подчеркнуто мной. – О Т) [Gołab 1978 364]. Аналогичные наблюдения стихийно делались лингвистами в общем всегда – и после внедрения понятия изоморфизма и задолго до него. Еще один типичный пример словообразовательно-семантического а н и з о м о р ф и з м а (неизоморфности) – болг. диал *опо-скам, опо-щя* 'искать (вшей)' как сохранение старого значения болг. *искам* 'искать' (теперь только 'хотеть') во вторичном словосложении. По свидетельству моего старинного друга Кирила Кос-

това (письменно), пример приводил еще более полвека назад проф. С. Младенов в лекциях. Лингвисты всегда понимали это на практике, а именно то, что "в поисках изоморфизма механически переносят методы изучения одного языкового "уровня" на другой. Между тем природа объектов изучения на разных уровнях различна" [Zolotova 1970 : 82]. Ниже я привожу несколько пространнее высказывание, созвучное выраженным мной мыслям и вместе с тем принадлежащее яркому исследователю, В.А. Никонову, на IV МСС: "Два методологических положения не учитываются исследователями: 1. Очаг явления видят там, где его примеры всего гуще. В действительности чаще наоборот: явление торжествует не там, где оно возникло, а лишь вырвавшись на колонизационный простор. 2. Названия сравнительны. В сплошных лесах бессмысленны названия *Лес*. Названия *Русский брод* и т.п. часты не в области сплошного русского заселения, а на его бывших рубежах, в зоне этнической чересполосицы. Пренебрежение к этой относительной негативности влечет к горьким ошибкам..." [Никонов 1962 : 478] – Какой жестокий удар по изоморфизму! И – какой триумф сравнительности! Хотелось бы в связи с этим коснуться одного вида "изоморфизма", о котором мало кто говорит, а грешат которым многие, – молчаливо принимаемого "изоморфизма" языкового и внеязыкового (реального) плана. Этим проникнуты практически все периодизации истории литературного языка/языков; они, как правило, нелингвистичны, построены на прямолинейных и недоказанных отождествлениях типа "до монгольского ига", "после Октябрьской революции", "общественная смута" = смута в языке (?), то есть вульгарно-социологичны. Безусловно, подобная установка вех в языковом, литературном развитии – относительно более легкий способ, но это скорее аргумент "против", чем "за". В основе периодизаций собственно языка и, наверное, литературы должен лежать постулат преломленного характера отражения. Внимание также должно быть обращено на всякого рода компенсации (в том числе междууровневые) в развитии славянских языков (см. [Леков 1973 : 46]).

Дальше мы коснемся эпизода из истории культуры и литературы, который, при всей ясности, оставлен в нарочито затуманенном, нерешенном состоянии, которое, на худой конец, видимо, больше устраивает сторонников положительного решения, чем открытое признание несостоятельности такого решения. Вопрос этот, конечно, должен интересовать всю славянскую филологию и, кроме своего культурно-исторического наполнения, способен дать пищу для слишком многих размышлений и, в свою очередь, способен оплодотвориться от применения весьма разных аспектов – уже упоминавшейся внутренней реконструкции и даже если угодно – от лингвистической географии. Я имею в виду проблему Возрождения у славян и прежде всего – у славян русских, восточных. Уже беглое ознакомление с исследованиями по древнерусской литературе показывает отсутствие оснований для констатации Возрождения на Руси, "так как в духовной культуре Древней Руси религия доминировала вплоть до XVII в." Вымученный и нелогичный вывод после сказанного, что "это – Предвозрождение" вызывает недоумение, как некая уступка настойчивому желанию все же найти "признаки устремленности к Ренессансу" [ИРЛ 1980 : 148, 187, 289].

Более осторожные оценки раздавались на Западе, например мнение С. Грачотти на X МСС в Софии 1988 года о том, что применительно к России речь о Ренессансе ("гуманизме") ранее XVII–XVIII вв. не идет. "Ренессанс со своим гуманистическим индивидуализмом был, таким образом, во всей полноте пережит только на побережьях позднейшей Югославии. Он пустил корни в адриатических городских республиках и, собственно говоря, не перешагнул через горные хребты, отделяющие их от внутренних районов полуострова" [Dabrowska-Partyka 1997 : 67]. Понятно, что вопрос деятельно обсуждался на съездах славистов. Ренессанс в значительной степени достиг все-таки Польши, лучший ее поэт в XVI веке, Ян Кохановский, был вершиной литературы польского Возрождения [Pelc 1973 : 691; 1988 : 475]. Опираясь на литературоведческий анализ того, как итальянский ренессансный гуманизм повлиял сначала на прибрежную Далмацию, а через Центральную Европу проник в чешскую,

затем – в польскую литературу (см. [Petřů 1978 : 691]), лингвист явственно представляет себе все это в виде аналога лингвогеографической проекции – с Запада на Восток, с полным угасанием на Востоке, в России. Труды славистических съездов постепенно проясняют и сущность ренессансного "гуманизма", которую порой слишком сглаженно толкуют как "возврат к античности" (ср. [Petřů 1993 : 255]). Нет, речь безусловно и откровенно должна вестись о возрождении греховного, плотского человека. Случай с Максимом Греком, которого даже пытались выставить как "итальянского гуманиста" в бытность его, Михаила Триволиса, в Италии (до схимы), более чем показателен. А между тем перед нами один из православных пытливых умов, современник "гуманизма", который рассматривал этот "гуманизм" именно как кризис, греховный погон. Максим Грек, верный православию, бежал, по собственному признанию, от "проповедников нечестия", как он называл тех, кто насаждал "Возрождение" и "гуманизм", бежал из Италии на православный Восток.

Можно себе представить, какой ересью это было в глазах православного христианства (это – к вопросу о поисках Возрождения в русском XVII веке, не говоря о более ранних веках). Слишком широкая манипуляция понятием "античность" тоже грозит обернуться анахронизмом. Небольшая словарная справка о понятии и термине *античность*. В древнерусских (русскоцерковнославянских) текстах разных веков (с XII по XVII в.) *еллинъ* – синоним язычника, *еллинство* – 'язычество'. И хронологически, и идеологически поучительна поздняя цитата 1666 года: ...Богодухновении отцы наши... жидовство же и еллинство, и латынство, арияство и люторство, и кальвинство обличаиша [СлРЯ XI–XVII вв. V: 47]. Ясно, что вплоть до конца XVII в. на Руси просто не было культурной ниши для так называемого Возрождения (что? – античности, то есть вышеупомянутого эллинизма и латинства?) с его выраженным антиклерикализмом, с его культом греховного человека. Иными словами, если не покидать этот угол зрения, "Возрождение" знаменовало кризис западного христианства – кризис, перед которым православное христианство устояло, несмотря на весь этот своеобразный (внушаемый нам) комплекс неполноценности. Кстати, как и следовало ожидать, слова *античный* не знают ни "Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.", ни "Словарь русского языка XI–XVII вв.". Слабые зачатки появляются только в XVIII веке: *антикви* (1721) = *антики* (1748) мн. 'древние вещи' [СлРЯ XVIII в. I, 1984 : 73]. Дальнейшее уже принадлежит новому времени. Очень объективно судит о взаимоотношениях *Slavia Romana* и *Slavia Orthodoxa* в этом вопросе Риккардо Пиккио – о задержке "неолатинских литературных "правил игры" именно в православном славянстве и именно ввиду "живучести" "местных традиций" "церковнославянского общества" [Picchio 1978 : 695]. Таким образом, обычная хронологическая раскладка – у хорватов и чехов с XV в., у поляков и словенцев с XVI в., у восточных славян и сербов с XVII в. [Rothe 1993 : 54] – нуждается в значительных оговорках. "Несходство культурной ситуации в Византии и Западной Европе, с одной стороны, и в *Slavia Orthodoxa*, с другой, не оставляет возможности говорить о "восточноевропейском Предвозрождении" [Живов 1993 : 165]. Одним лишь преувеличением однородности культурной ситуации в обеих частях Европы и широким допущением культурной трансплантации с Запада на Восток реальных отношений не объяснить.

Это и есть, собственно говоря, главная причина ("живучесть местных традиций" церковнославянского общества", см. Пиккио, выше), почему у нас в России ни в XVI, ни в XVII веке не было своего Яна Кохановского, что обычно не преминут отметить польские литературоведы, когда пишут о древнерусской литературе. Ян Кохановский – типично возрожденческий поэт, гармонизировавший свою христианскую душу с "языческим телом" [Jerzyna 1996 : 7]. Согласимся, что ничего подобного в древнерусской литературе мы не найдем, потому что там это было не ко двору. Наша старая литература оставалась строгохристианской и бдительной к соблазнам схизматиков. Таким образом, могла бы отпасть одна довольно крупная шаблонизация (стандартизация) по западному образцу, и вещи бы встали на свои места.

Естественно, что упомянутый феномен не следует путать или отождествлять с

национальными возрождениями чехов, словаков, болгар, с тем, что еще обобщенно называется славянское национальное возрождение. Остается добавить, что ничего адекватного также этим национальным возрождениям не было в русской культуре, литературе ввиду рано сложившейся идеологии великой державы.

В том, что обсуждалось выше, имело и имеет место неточное, избыточное употребление терминов, перенос терминологии, оформившейся в иных культурных регионах. Этим грешат отнюдь не одни только исследователи Ренессанса. Мне уже приходилось – на лингвистическом материале – наблюдать некорректность применения классического термина "рабство" к славянам, для которых, скорее, характерно было некое "квазирабство" [Трубачев 1991 : 202–203]. В свою очередь, чрезмерно в иных условиях обкатанные понятия и термины "феодализм", "(классическое) средневековье" ощущаются как внешние, заносные (с Запада), вторичные для русской историографии (см. [Свак 1988 : 649]).

Отношение (противостояние) *Slavia Romana* – *Slavia Orthodoxa* представляет только одну из ипостасей более универсальной оппозиции Запад–Восток. Их не все разделяет, многое их связывает, взять хотя бы то обстоятельство, что *Germania*, *Romania* и *Slavia* (обе Славии – римскокатолическая и православная) в сумме составляют Европу. Относить целиком славян к Востоку – это наиболее примитивный "западный" угол зрения. Немалая собственная специфика славянства служит оправданием формулировки "славяне между Востоком и Западом" [Карагьозов 1997 : 363 и сл.]. Если сосредоточиться на нерешенных вопросах, то делается ясным, что накопился большой дефицит адекватной оценки этой собственной специфики, внутренней, вертикальной культурной преемственности (язычество → христианство, "второе южнославянское влияние" и его потенциальные внутренние мотивы и др., выше) за счет традиционной переоценки горизонтальной, с Запада на Восток, переемственности.

Если наблюдения (и в области исконной славянской христианской лексики – праслав. \**rajъ* 'рай', и в сфере выражения посессивности – ключевое слово \**svojъ*, *свой*), показывающие единство славян, не разрушенное даже этой схизмой на Слaviю римскокатолическую и Слaviю православную. Реконструкция вскрывает это неумирающее единство, и мы благодарны реконструкции. Сквозь антропоцентризм, который довольно широко свойственен языку и который, может быть, стоит, чтобы сказать о нем особо, все же просвечивает оппозиция западного индивидуализма и славянского коллективизма/этноцентризма [Карагьозов 1997 : 369].

Дескриптивизм, не отягощенный исторической памятью, оперируя "наивной" картиной мира, "вдруг" открывает для себя антропоцентризм в языке и всякий раз почти точно знает, к какому авторитету это восходит – к А. Вежбицкой [Земская, Ермакова, Рудник-Карват 1993 : 260] или к Х. Людке [Reiter 1986 : 27]. Такое "новаторство" производит несколько странное впечатление, потому что сравнительно-историческое языкознание, этимология, построенная на них реконструкция в общем давно работают с концепцией антропоцентричности древней (в частности) славянской культуры и языковой картины мира, ср. тезис о том, что тему праславянской культуры надо начинать с человека, который *eo ipso* мерит все окружающее и мыслимое ключевым словом \**svojъ*, *свой*, вплоть до того, что сама культура представляется совокупностью с в о и х отношений к окружающим и мыслимым объектам (см. [Трубачев 1991 : 156–157]). Значит, как минимум – нужно признать слабую взаимную информированность таких филологических дисциплин, как дескриптивное и сравнительное языкознание. Работать в направлении укрепления взаимосвязей нужно всегда и особенно – сейчас, когда излишний ригоризм деления на "строгие" и "нестрогие" дисциплины и методы, на "современные" (*moderne*) и "традиционные" направления, слава богу, ослабевает и теряет актуальность.

Сейчас, как говорят (в том числе – на наших съездах). "...доминирует переход от закрытых структур к открытым" [Savický 1993 : 436], это не может не выражаться в смягчении претензий всюду видеть строгую структурность и системность. Словарный

состав, лексика, наиболее соответствующие эталону открытой структуры, хотя бы по одному тому, что перед ними пасовали структуралисты, эти "охотники за системностью", постепенно вновь занимают подобающее место в интересах теоретиков языка.

А начиналось все, как известно, очень "круто", если вспомнить прокламацию непримиримой дихотомии "синхрония" – "диахрония", – не на шутку встревожившей серьезных представителей целостной науки о языке. Семереньи напоминает нам, что первым, кто возвысил голос против "злополучного раскола" (the unfortunate schism) между синхронией и диахронией, насаждаемого продолжателями и апологетами сосюррианства, был Вальтер фон Вартбург в 1931 году [Szemerényi 1969 : 120]. Гигантский собственный опыт В. фон Вартбурга во французской этимологии и сравнительном романском языкознании (этимологический словарь французского языка) известен. Но ригористической дихотомией синхрония и диахрония тяготились и те, кто принадлежал к лагерю структурной лингвистики. Пражский лингвистический кружок, чьи "Тезисы" были опубликованы к открытию I Международного съезда славистов 1929 года, выступил как раз против "непреодолимости преград между синхронией и диахронией" [Булыгина 1990 : 390]. Пражцы боролись не только против означенной "пропасти", но и за синхронию, прилагая много усилий, чтобы снять отождествление с и н х р о н и и с т а т и к и [Jakobson 1992 : 17]. Но кирпичик из здания все же оказался вынут, и постепенно и малозаметно оно начало оседать и разрушаться. Тем более, что, вопреки всем кривотолкованиям, именно согласно Соссюру синхрония – это статика [Павленко отд. отт.]. Упомянутая борьба пражцев оставляла непреходящий привкус эклектизма и – главное впечатление, что ригористическая синхрония, этот никем никогда недостижимый "миг между прошлым и будущим", обречена. Казалось, нет ничего проще, тем не менее знаменательны признания, что определить состояние синхронии труднее всего. Искусственность и умозрительность приобретают при этом угрожающие размеры. Метафоричность теоретического словоупотребления превращается во все более назойливую помеху. Мне уже приходилось писать о том, что "...и Миклошич, и Вондрак искренне удивились бы, если бы им сказали, что в их сравнительных грамматиках славянских языков даны с и н х р о н н ы е обзоры старославянских, русских и других словообразовательных средств." Для них с этого начинался сравнительно-исторический аспект [Трубачев 1993 : 65]. Само р а з в и т и е я з ы к а уже кажется нашим и заграничным теоретикам парадоксом ("парадокс Балли") (ср. [Николаев 1987 : 19]). Ясно, что нормальным такое положение признано быть не может. Ясно, что развитие языка – это универсальная реальность, и в нем самом заключено уже опровержение универсальной системности языка (иначе существовало бы вечное равновесие, а не вечное развитие, что есть на самом деле). Системные задатки, системные моменты существуют, но они частны, специальные, а не универсальны (об этом, впрочем, писали и другие, например М. Вандрушка). Параллельно назрел кризис концептуализации и терминологизации; здесь все болезненно пеетрит от преувеличений и метафор. Все эти "системы систем" и "синхронные срезы" (!) в два века недоказуемы и давно вызывают чувство неудобства, – тем больше, что здесь далее сказывается также негативное воздействие языкознания на литературоведение. Примеров достаточно: "Древнеславянские литературы как система" [Лихачев 1970 : 326]; "Категория пространства является одной из основ литературы как семиотической системы" [van Baak 1983 : 447]; "... интеграция в Европе славянских литератур в составе подсистемы восточноевропейской литературы..." [Kovács 1993 : 367]. Очень наглядно обстоит дело с лингвистическим термином *метаязык* 'семантический, описательный язык' [Гвишиани 1990 : 297] и с его литературоведческими эпигонизмами: "Традиция металитературы у А.П. Чехова..." [Maxwell 1983 : 378]; ср., далее, сближение "мета-литературы" и "литературы-посредницы" у Д.С. Лихачева [А.В. Липатов 1990 : 189]. В общем мотивация и динамика этого явления понятны; они – в природе человека, метафористичного человеческого мышления, этой питательной почвы поэтики и поэзии, во всепроникающей метафористической природе

человеческого языка вообще, в котором, как утверждают, метафорично все, кроме математики [Friedrich 1986 : 8], ср. еще [Трубачев 1988 : 74].

Но вернемся напоследок к нашей парадоксальной дихотомии синхрония – диахрония, которая неслучайно "смотрится" в ряду других метафорических преувеличений нашей филологии. Вплоть до открытия Куриловичем сохранного ларингального в хеттском взгляды раннего Соссюра (о консонантном коэффициенте) почти пятьдесят лет считались "чистой ересью" (pure heresy) [Szemerényi 1967 : 69]. Кто знает, не сочтут ли – в свою очередь – наши потомки великой ересью нашего XX века эту обременительную дихотомию синхронии – диахронии?...

Филология и в ней – сравнительность останутся и в следующем веке, останутся навсегда.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р И 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том II Проблемы славянского языкознания. М., 1962
- Аванесов Р И 1963 – Описательная диалектология и история языка // Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. М., 1963.
- Аванесов Р И 1973 – К вопросам периодизации истории русского языка // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973.
- Аванесов Р И 1978 – Общеславянский лингвистический атлас (1958–1978). Итоги и перспективы // Славянское языкознание VIII международный съезд славистов Доклады советской делегации. М., 1978
- Барроу Т 1976 – Санскрит. М., 1976.
- Бернштейн С Б 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Бородич В В 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Булыгина Т В 1990 – Пражская лингвистическая школа // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл ред В.Н. Ярцева М., 1990.
- Верецагин Е М 1997 – История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.
- Виноградов В 1970 – VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu I. Praha, 1970.
- Гавранек Б 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Гашищани Н Б 1990 – Метаязык // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Гамкрелидзе Т В, Иванов Вяч Вс 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. II. Тбилиси, 1984.
- Горяинов А Н, Досталь М Ю, Робинсон М А 1993 – Методологические проблемы истории славистики как объект анализа в рамках международных съездов славистов // XI Medzinárodný zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava 1993.
- Громова-Онульская Л Д – 1978 – L'évolution des opinions de L. Tolstol et les problèmes de la textologie // VIII Mezinárodní slavističtí kongres. Knjiga referata. Sažeci. I. A–K. Zagreb, 1978.
- Громова Л Д 1993 – История текста как путь к истории литературы. – XI Medzinárodný zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava 1993
- Дерягин В Я 1983 – IX Международный съезд славистов Материалы дискуссии. Языкознание Киев, 1983
- Жуковская Л П 1976 – Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976
- Живов В М 1993 – Гуманистическая традиция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам в XV–XVII вв // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993
- Земская Е А, Ермакова О П, Рудник-Карват З 1993 – Теоретические проблемы сопоставительного изучения словообразования славянских языков (семантико-функциональный аспект) // XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993.
- ИРЛ 1980 – История русской литературы. Т. 1. Древнерусская литература. Л., 1980.
- Карагвозов П 1997 – Славяне между Востоком и Западом. Религиозные и литературные аспекты двойственности // Slavia Orientalis T. XLVI, N 3, 1997.
- Кочев И 1986 – IX Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Языкознание Киев, 1986.
- Крысько В Б 1997 – Кости и письмена: к поискам истоков древнего новгородско-псковского диалекта / Псковские говоры. История и диалектология русского языка // Под ред. И. Бьернфлатена. Oslo, 1997
- Лекон И 1973 – Компенсация – развоен фактор в славянските езикови системи // VII Międzynarodowy kongres slawistów Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa, 1973.
- Липатов А В 1990 – Общие закономерности истории славянских литератур и концепция Р. Пиккио // ZfSl 35, 1990, 2.
- Лихачев Д С 1962 – Текстология на материале русской литературы X–XVII вв. М.–Л., 1962.

- Лихачев Д** 1970 – VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 1. Praha, 1970
- Львов А С** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Мартинов В.В** 1978 – Balto-Slavo-Italic isoglossic lines (Lexical synonymy) // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L-Y. Zagreb, 1978
- Мартинау В.** 1993 – Этногенез славян. Язык и миф // XI medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé Bratislava, 1993.
- Николаев Г.А.** 1987 – Русское историческое словообразование. Теоретические проблемы. Казань, 1987.
- Никонов В.А.** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962
- Ничев Б** 1978 – Сравнительното славянско литературознание в контекста на съвременната литературна наука // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L-Y. Zagreb, 1978.
- Носовский Г.В., Фоменко А.Е.** 1997 – Новая хронология Руси. М., 1997.
- Павий М** 1994 – Хазарски речник. Београд, 1994.
- Павленко Н.А.** – Синхрония и диахрония в языке – Slavia (отд. отт.).
- Паюц П.П.** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Раденковић Љ** 1993 – Словенске народне басме (крај XIX – почетак XX века) // XI Međzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé Bratislava, 1993
- Р** 1997 – Русские / Отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. М., 1997
- Свак Д.** 1988 – Концепция т.н. русского феодализма в русской исторической науке // Международный конгресс на славистите. Резюмета на докладите. София, 1988.
- Седов В.В.** – Славяне в раннем средневековье. М., 1995
- СИИЯРС** 1988 – Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции / Отв. ред. Н.З. Гаджиева. М., 1988
- СлРЯ XI–XVII вв.** – Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–
- СлРЯ XVIII в.** – Словарь русского языка XVIII в. 1974–.
- Сулрун А.Е.** 1989 – Введение в славянскую филологию. 2-е изд., перераб. Минск, 1989.
- Токарев С.А.** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962
- Толочко П.П.** 1993 – Язычество и христианство на Руси // XI Međzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993
- Толстой Н.И., Толстая С.М.** 1993 – Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. \*vesel-) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993
- Трубачев О.Н.** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Трубачев О.Н.** 1963 – Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд) Проспект. Пробные статьи. М., 1963.
- Трубачев О.Н.** 1988 – Славянская этимология и праславянская культура // X международен конгрес на славистите. Резюмета на докладите. София, 1988.
- Трубачев О.Н.** 1991 – Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991
- Трубачев О.Н.** 1993 – Синхрония, диахрония – und kein Ende.. // Slavia. Ročn. 62, 1993.
- Трубачев О.Н.** 1995 – Slavania на Майне в меровингскую и каролингскую эпоху. Реликты языка // Dialectologia slavica. Сборник к 85-летию С.Б. Бернштейна. М., 1995.
- Трубачев О.Н.** 1997а – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2. М., 1997.
- Трубачев О.Н.** 1997б – В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. Изд. второе, дополненное. М., 1997.
- Урбанчик С.** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
- Усачева В.В.** – Зубы (рукопись; передана автору С.М. Толстой).
- Филин Ф.П.** 1978 – Iskonsko i pozajmljeno u suvremenom ruskom književnom jeziku // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. I. A-K. Zagreb, 1978
- Хелицкий Б.А.** 1993 – Ранняя славянская христианская терминология в венгерском языке // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. М., 1993
- Чекановский Я.** 1962 – IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962
- Чекман В.Н.** 1978 – Typological and areal aspects of phonetic changes in Common Slavic // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. I. A-K. Zagreb, 1978
- Baak J.J. van** 1983 – Семантика литературного пространства в диахронном освещении // IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983.
- Białokozowicz B.** 1983 – Jan Baudouin de Courtenay and Slavonic literatures // IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983.
- Baudouin de Courtenay Z.** 1983 – Izglosy w świecie językowym słowiańskim // Sborník Prací I. Sjezdu slovanských filológů v Praze 1929, svazek II. Praha, 1932 (Перепечатано в. J.N. Baudouin de Courtenay. Dzieła wybrane T. V. Warszawa, 1983)

- Czekanowski J 1957 – Wstęp do historii Słowian Wyd II Poznań, 1957
- Dąbrowska-Partyka M 1997 – Zagadnienie tożsamości a konflikt jugosłowiański // Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów Kraków, 1997
- Friedrich P 1986 – The language parallax Linguistic relativism and poetic indeterminacy Austin, 1986
- Furdal A 1978 – Schrifttheorie und ihre Bedeutung für Slavistik // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci I F-K. Zagreb, 1978
- Golb Z 1978 – Conservatism and innovatism in the development of the Slavic languages // American contributions to the Eighth International Congress of Slavists Zagreb and Ljubljana, September 3–9, 1978 V I Linguistics and poetics / Ed by H Birnbaum Columbus, Ohio, 1978
- Havranek B 1970 – VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968 Akta sjezdu I Praha, 1970
- Horalek K 1973 – Kritéria genetických souvislostí // VII Międzynarodowy kongres slawistów Streszczenia referatów i komunikatów Warszawa, 1973
- Isačenko A V 1939 – Versuch einer Typologie der slavischen Sprachen // Linguistica Slovaca I, Bratislava, 1939
- Jakobson R 1992 – Synchronní a diachronní studium jazyka // Slavia. 61/1, 1992
- Jerzyńska Z 1996 – [предисловие к однодому] Jan Kochanowski Dżbanie mój pisany Warszawa, 1996
- Kotarbinski T 1973 – Traktat o dobrej robocie Wyd 5 Wrocław, 1973
- Kovács A 1993 – Comparative poetics of Slavic literatures // XI Mezinárodní zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Kuylowicz J 1962–1963 – O tzw wewnętrznej rekonstrukcji // Sprawozdania Wydziału nauk społecznych PAN 1962–1963
- Lenček R L 1978 – Baudouin de Courtenay's concept of mixed languages // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci II L–Y, Zagreb, 1978
- Martinet A 1987 – De la philologie à la linguistique V 23, 1987
- Mathiasen T 1993 – XI Mezinárodní zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Максвелл D 1983 – IX Международный съезд славистов Резюме докладов и письменных сообщений М., 1983
- Moray K 1978 – Z zagadnień frazeologii porównawczej języków słowiańskich // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci II L–Y Zagreb, 1978
- Němec I 1959 – Vývojové problémy soudobé nauky o vidu // Slavia XXVIII/3, 1959
- Němec I 1964 – V mezinárodní sjezd slavistů v Sofii – Slavia, roč XXXIII, seš 3, 1964
- Němec I 1974 – Historická lexikologie a VII Mezinárodní sjezd slavistů // Slavia XLII, 2, 1974
- Němec I 1992 – Slovanská etymologie v stém výročí smrti F Miklošiče // Slavia, roč 61, 1992
- Niebrzegowska S 1996 – Polski sennik ludowy Lublin, 1996
- Orožen M 1993 – Kontinuiteta starocerkvenoslovanske leksike v slovenskem jeziku // XI medzinárodný zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Pelc J 1973 – Europejskość i swoistość literatury polskiego renesansu // VII Międzynarodowy kongres slawistów Streszczenia referatów i komunikatów Warszawa, 1973
- Pelc J 1988 – Renaissance humanism in Polish literature origins and further stages // X Международный конгресс на славистите Резюме на докладите София, 1988
- Petrů E 1978 – Les problèmes méthodologiques des recherches sur le mouvement humaniste dans les littératures slaves // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata. Sažeci II L–Y Zagreb, 1978
- Petrů E 1993 – Barokní humanismus ve slovanských literaturách // České přednášky pro XI mezinárodní sjezd slavistů Česká slavistika 1993 (Slavia)
- Picchio R 1978 – Принципы сравнительной славяно-романской истории литературы // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci II L–Y Zagreb, 1978
- Popowska-Taborska H 1978 – Rôle et limite des arguments linguistiques dans les recherches sur l'ethnogénese des Slaves // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata. Sažeci II L–Y Zagreb, 1978
- Popowska-Taborska H 1988 – The problem of linguistic peripheries in the ethnogenetic researches // X Международный конгресс на славистите Резюме на докладите София, 1988
- Rabanales A 1979 – Les interdisciplines linguistiques // La linguistique V 15, Fasc 2 Paris, 1979
- Reiter N 1986 – Anthropozentrismus und Sprachwissenschaft // Сборник за филологию и лингвистику XXIX/I, 1986
- Rothe H 1993 – Zum Humanismus bei den Slaven Stand und Aufgaben der Forschung // XI Međunarodni zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Savický N 1993 – Předchůdci poststrukturalismu v jazykovědě slovanských zemí // XI Mezinárodní zjazd slavistov Zborník resumé Bratislava, 1993
- Simonides D 1978 – Ausgewählte Probleme der folkloristischen Textologie // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci II L–Y Zagreb, 1978
- Štátný V 1993 – Místo historiografie ve slavistických studiích // České přednášky pro XI Mezinárodní sjezd slavistů Česká slavistika 1993 (Slavia)
- Stolz B A 1973 – On the history of the Serbo-Croatian diplomatic language and its role in the formation of the contemporary standard // VII Międzynarodowy kongres slawistów Streszczenia referatów i komunikatów Warszawa, 1973
- Szemeleinyi O 1967 – The new look of Indo-European Reconstruction and typology // Phonetica V 17, N 2, 1967

- Szemerényi O 1972 – Comparative linguistics // Current trends in linguistics / Ed Th A Sebeok V 9 Linguistics in Western Europe The Hague-Paris, 1972
- Szemerényi O 1982 – Richtungen der modernen Sprachwissenschaft II Die funfziger Jahre (1950–1960) Heidelberg 1982
- Trubačev O N 1978–1979 – Bilješke jednog sudionika VIII Međunarodnog slavističkog kongresa (3 – 9,09 1978, Zagreb) // Jezik Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, god XXVI, 2, 1978–1979
- Trubačev O N 1991 – Slavische Etymologie gestern und heute // Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd 37, 1991
- Večerka R 1993 – Postavení staroslověnštiny v komplexní jazykové realitě staré Moravy // České přednášky pro XXI mezinárodní sjezd slavistů. Česká slavistika. 1993 (Slavia)
- Vincenz A De – О лексическом составе языка западной миссии у славян // X Международен конгрес на славистите Резюме на докладите. София.
- Wollman S 1997 – Pronásledování slavistů v Sovětském svazu a Slovanský ústav v Praze // Slavia Ročn 66, 1997
- Wollman S 1978 – The methodological base of comparative Slavic literature // VIII Međunarodni slavistički kongres Knjiga referata Sažeci II L–V Zagreb, 1978
- WS 1997 – Współczesni Stowianie wobec własnych tradycji i mitów. Kraków, 1997
- Zolotova G 1970 – VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968 Akta sjezdu I Praha, 1970
- Žirmunskij V 1970 – VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968 Akta sjezdu I Praha, 1970